

Растратчик?

ХРОНОГРАФ

10 лет назад
умер Валентин Катаев

Звек. - 1996 - 19-25 апр. (л 16) - с. 11

Станислав РАССАДИН

Вряд ли в литературе советской эпохи сыщутся романы более знаменитые, чем дилогия об Остапе Бендере, растащенная интеллигентами и полуинтеллигентами на цитаты, подобно Библии; соответственно знаменита история возникновения «Двенадцати стульев». Та, согласно которой старший брат одного из будущих соавторов, «Валюн», то бишь Валентин Катаев, дал им фабульную зацепку: стулья, в одном из коих спрятаны бриллианты (в свою очередь, вдохновившись новеллой Конан-Дойля «Шесть Наполеонов»). Причем сперва отвел себе роль Дюма-отца, как известно, пользовавшегося чужими трудами, а соавторам — роли поденщиков, «негров», но, когда прочитал первые главы, отказался быть надсмотрщиком-мэтром, признав начинающих уже сложившимися писателями.

Иной раз может показаться, что это едва ли не самый славный эпизод в долгой жизни Катаева — ну, может, в этом смысле сравнима лишь повесть «Белеет парус одинокий». Пуше того, в нашумевшем «Алмазном моем венце», вещи вне жанра («не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не мемуары» — признание самого автора), он так много отводит места той давней истории, что его самого впору заподозрить в ущемленно-честолюбивом сознании. Да и сам этот «не роман, не рассказ», в котором слишком заметно желание отстоять свою репутацию, утвердиться рядом с Есениным и Булгаковым, Зощенко, Бабелем и Мандельштамом, классиками общепризнанными, — воплощенный (впрочем, блистательным стилем)

комплекс неполноценности. Так что когда, при появлении, «Алмазный венец» хищно затапывался прогрессивной критикой, в частности за «самозванство», получалось: хочешь-не хочешь, а как не признать правоту обличителей?

И главное тут в этом причудливом сочетании хотения с нехотением.

Припоминаю, как мой друг и коллега, ныне оставшийся для меня только коллегой, написал одну из своих самых ярких статей, раздражив роман «Трава забвенья», а я, в целом не возразив его полемическим устремлениям, сказал нечто следующее. Да, мол, в общем, ты прав, но почему ты лишь мельком, как малозначащее, упомянул «Святой колодец»? Я же помню, в какое ликование он тебя привел, ты говорил даже, что испытываешь патристический восторг — дескать, и в области модернистской прозы мы лучше, чем Запад!.. Коллега согласился, дописал какие-то строки, впрочем, снова изъязвив их при переиздании статьи, и я принимаю его резоны. Ругать вообще эффективнее, чем хвалить; хвалить же писателя, замеченного во многом дурном, и в конъюнктурности, и в поношении диссидентов, совсем неловко и предосудительно с точки зрения либеральной ортодоксии. Да что толковать, сам я риску сейчас нарваться на упреки этого рода — и как иначе, если замечательный человек Борис Чичибабин разразился такой инвективой: «Я грех свячу тоской. Мне жалко негодяев — как Алексей Толстой и Валентин Катаев?»

Но тут — спотыкаюсь. Жалко — кого? Автор «Детства Никиты» и «Ибикуса», «Растратчиков» и «Святого колодца»?

Жалко — за что, в каком смысле? Есть над чем пораздумать.

В своей молодости я со свойственной ей прямолинейностью утверждал: талант — порождение и воплощение добра. Только! Ну не до глупейшей крайности доводил эту мысль, но все-таки вроде бы выходило: «негодяйство», на чей путь, увы, становились многие талантливые люди, то бишь корыстность, трусость, подличанье, неотвратимо искореняет данный природой талант, Божию искру. Не оставляет от нее ни проблеска — и, конечно, не я один был столь однолинеен, если при появлении того же «Святого колодца» (1965), ошеломившего неожиданной новизной, ревнители исключительной добродетели и эту книгу принялись пинать; исходили, как видно, из аксиомы, что человек с дурной репутацией не может писать хорошо.

А вдруг и вправду — не может? Если же может, то, вероятно, не такой уж дурной? Поди разбери.

Странное впечатление произвел и до сих пор производит трехтомник Катаева 1977 года, стоящий на моей полке: он словно фиксирует разброд в душе, незакончившуюся борьбу искусства и конформизма. Конъюнктурность отбора все очевидна — в сжатое избранное, куда не вошел, возможно, по причине чрезвычайной извечности, «Парус» с Петей и Гавриком, попала зато повесть о Ленине; правда, в ней Катаев уже нащупывал тропку, которая привела его к поздней, раскрепощенной, «мовистской» прозе, однако к герою ее он, ученик Бунина, умный циник, вряд ли относился столь однозначно. Но это по крайней мере

понятно, а есть ощущение, будто автор демонстративно заголяется: да, я и этакий, и такой, вот картонажный «Сын трудового народа», вот слащавый «Сын полка», и вот — «новая проза», вот, наконец, «Растратчики». Книга, как я убеждался неоднократно, почти забытая, хотя она — лучшее из того, что написал Катаев, в ту пору не достигший тридцатилетия; робко не исключаю, что — великая.

Признаюсь, в приязни к «Растратчикам» я даже готов несколько потеснить «интеллигентское Евангелие» — романы Ильфа и Петрова; как и все, отдаю им должное, но... Все же масштаб не тот.

Станиславский, в 1928 году руководивший постановкой пьесы по «Растратчикам» (там, говорят, гениально играли Тарханов и Топорков, но спектакль вскоре был снят как политически вредоносный), увидел в них новые «Мертвые души», «фантазмагорию», «которую надо было развернуть на сцене в космических масштабах». И вправду, при всей условности всех аналогий, эта — реальна. История двух советских мальчиков, бухгалтера Филиппа Степановича и кассира Ванечки, бессмысленно и бездарно сорванных с места стихией растратничества и до того, как неизбежно очутиться в тюрьме, не сумевших вкусить от краденого богатства хоть малую толику удовольствия, — это наша, российская история (в обоих смыслах слова), это Русь-тройка, не в первый и не в последний раз сбившаяся с дороги и своротившая седоков в канаву. Да и сам Катаев тогда еще утверждал: «Растратничество — ведь это типично русское явление», с бесшабашной силой возникающее на переломе эпох, «когда

все полетело, когда весь привычный строй жизни рассыпался...»

Узнаем ли мы в этом и свое время, себя самих, недоуменно сетующих на разгул воровства и коррупции? А узнав, призадумаемся ли над странной повторяемостью явления?

Скажу справедливости ради: Ильф и Петров, «подначенные» Катаевым на создание знаменитых романов, тоже поднялись над плутовским замыслом, над авантурным сюжетом, показали драматическую обреченность предприимчивости, наступление эпохи распределения. Однако в «Растратчиках», чьи герои — не плуты, не авантюристы, а щепка, закрученная поистине «бессмысленной и беспощадной» стихией, больше боли. «Вместо того чтобы увидеть на сцене растрату как социальное зло, видишь страдания несчастных людей, мучающихся безвинно» — вот именно! Сказано же одним из тех, кто добивался запрета спектакля и повести, — хулителю часто удается быть зорче, чем апологетисту.

Так все-таки — был ли я хоть самую чуточку прав в своем юношеском максимализме? Вероятно — был. Чуточку.

Да, выражаясь нашим привычным жаргоном, «сложная и противоречивая» фигура — этот и битый и возносимый Валентин Катаев, ровно десять лет назад которого не стало. И не в том дело, чтобы поминать то добро, которое ему приходилось творить, например родительскую возню (однако и уроки цинизма) с молодой порослью литературы в созданном им журнале «Юность». Или отношение к загнанному Мандельштаму, которого Катаев не только подкармливал, но, случалось, и защищал, и, что,

быть может, важнее всего, понимал величие его поэзии; это в ту пору было особенной редкостью. Не зря злая Надежда Яковлевна Мандельштам в своих пристрастных воспоминаниях именно о Катаеве отзывается снисходительно, упоминая, что и Осип Эмилевич относился к удачнику советской литературы тепло.

Но, повторяю, дело даже не в этом, и в историю литературы Катаев войдет (войдет!) не косвенно, не как персонаж тех или иных воспоминаний, а как автор «Растратчиков» и «Святого колодца». Вещей, где Божий дар, с которым он, подобно многим и многим, обращался бесцеремонно, пробился-таки сквозь напластования.

«Мне жалко негодяев...» Строго-то говоря, в самом деле — как не пожалеть, что невероятно одаренный Алексей Толстой или тот же Катаев растратили многое из того, что им было свыше дано, притом, совсем как кассир и бухгалтер, тоже бессмысленно — ибо многого ли стоят все бытовые блага рядом со счастьем полного художнического воплощения? Но мы, читатели, поступим куда разумнее, если окажемся благодарны за то, что создано, воплощено, осталось. За то, в частности, что после летаргии, в которой пребывал удивительный катаевский талант, когда, эксплуатируя успех Пети и Гаврика, над ними возводилась социалистическая пирамида нечитательных романов цикла «Волны Черного моря», эта безразмерная одиссея, как окрестили ее остряки, — после обморока талант воспрянул и создал «Святой колодец», «Кубик», «Уже написан Вертер»... Мало? Но хотим или не хотим (я — хочу), тоже нашу классику.

